

НИНА ОБРЕЗКОВА



НА СЕМИ ЛОДКАХ

РАССКАЗ

От всего сердца натешилась в этом году вешняя вода. Отобрала у людей стоявшие по берегу бани, облизывала уже углы домов, но никак не могла насытиться. Сельчане с тревогой смотрели на разбухающую реку: “Господи Боже, спаси нас и помилуй”. Лишь прибрав к рукам дорогу к сельскому кладбищу, река угомонилась. Растерялись люди — виданное ли дело, чтобы дорога ушла под воду. Протекавший рядом с погостом ручей по весне и раньше частенько разливался, но настолько высоко вода поднялась впервые. “Только бы никто не умер, только бы никто не умер”, — с надеждой приговаривали местные.

Но, кроме людских упований и речного норова, имеется в мире и другая, высшая сила: вскоре по округе разнеслось — в соседней деревне преставился мужик. По годам вполне еще жилец на этом свете. “Ну, дела, ну и дела-а-а,— шептались сельчане.— Вот ведь, вот ведь, в такое половодье! Как и хоронить-то будем?”

Посудачив, люди принялись за привычную работу: мужики взяли топоры и пилы, а бабы затеялись варить и стряпать на поминальный стол.

А что тут поделаешь, не положено покойников на поверхности земли оставлять.

ОБРЕЗКОВА *Нина Александровна* родилась в 1965 году в с. Глотово Удорского района. Окончила Сыктывкарский государственный университет. Автор нескольких поэтических сборников. Стихи переводились на эстонский, болгарский, удмуртский, мордовский, венгерский, финский языки. Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культуры за 2009 год. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

Этот мужик так же, как и нынешнее половодье, когда-то от души натешился в моей жизни. Лет двенадцать мне было, наверное, когда он зачастил к нам в дом. Ну, приходит и приходит. Нам, детям, он ещё то конфеты, то ещё какие-нибудь гостинцы-лакомства приносит. Посидят с мамой, чай попьют, поговорят о чём-то, а нам и дела не было до их разговоров.

Но в один из вечеров — уже стемнело, — а гость всё ещё у нас. Я позвала маму в другую комнату и тихонько спросила:

— Мам, он долго ещё здесь сидеть будет? Спать пора, поздно уже.

— А вы ложитесь, не ждите меня. Я тоже лягу потом.

— Ну, мама...

— Я сказала, иди ложись.

— Нет.

— Ложись!

Что меня тогда так распалило? Мамины ли глаза, голос ли? Я вдруг отчётливо поняла, что дома у нас не всё в порядке. Всегда обычно строгая, мама на этот раз даже сердилась как-то по-особенному.

— Я не лягу, пока он здесь.

— Ляжешь!

— Нет. Завтра в школу не надо, каникулы. Тогда я тоже буду здесь сидеть.

— Не зли меня.

— Ах, не злить?! — Характерец-то у меня ещё тот был. — Ну, хорошо: либо я, либо он.

— Не дури.

— Я и не дую. Я сказала.

— Нашлась тоже разговорчивая. Ложись и спи, завтра утром поговорим.

— Никакого завтра здесь не будет, — хлопнув дверь, я выбежала вон. Куда? Зачем?

...Оказалась почему-то в доме бабушки Павлы и деда Якова. Их похожий на игрушку дом стоял наискосок. Дружно жили они с бабушкой моей, и нам как родня были.

— Что-то поздновато. Мама зачем-то послала? — удивилась бабушка Павла.

— Нет, — промямлила я. — Я... просто так... побуду... у вас.

Бабушка Павла потуже подвязала платок и куда-то вышла, а я стою и не знаю, что мне теперь делать.

Довольно скоро она вернулась и, пройдя на кухню, сказала:

— Ладно, деточка, ладно, побудешь так побудешь. — И снова принялась за домашние хлопоты.

“Наверное, к нам выходила. Сейчас мама придёт. А может, не придёт”.

Я даже толком не понимала, почему я убежала из дому и как это — мама за мной не придёт. Сама же возвращаться назад я, понятное дело, не собиралась. Мне отчего-то было очень обидно. А отчего? Двенадцатилетняя девчонка, дочь школьной учительницы, которая училась жить по книгам, а любовь ей казалась каким-то огромным чистым небосводом, конечно, не могла соединить эту любовь с человеком, сидящим у неё в доме. В голове билась лишь одна мысль: “Мама предала отца!”

Жизнь кончилась. Я не плакала — обида выжгла слёзы. “И зачем жить этой обманной, лживой жизнью?” Мыслей о настоящей смерти, конечно, не было, просто хотелось стереть, стереть всё, что происходило не по моим представлениям. А как это сделать, я и сама не знала.

...Долго я стояла и царапала угол большой свежесвыбеленной печи бабы Павлы. Потом, когда заболели кончики пальцев, стала выковыривать белую муку из-под ногтей. Физическая боль оказалась сильнее душевной, и незаметно для себя я успокоилась. Бабушка Павла изредка поглядывала в мою сторону, но ничего не говорила, за подпорченный печной угол тоже не ругала.

Пришла мама. Оказывается, она сразу и приходила, но бабушка Павла попросила её меня не трогать, пускай, мол... Через некоторое время мы всё-таки пошли домой.

Дома кроме сестры теперь уже никого не было. Мама сказала:

— Давайте в карты поиграем.

И попала в самую точку. А мы и вправду очень в карты любили играть с бабушкой. Придет, вытащит из кармана колоду — она карты всегда с собой носила — ну что, поиграем? Но больше всего мне нравилось смотреть, как они играют с дедом Иваном и с бабушкой Софьей. Всегда как-то очень уж весело — с шутками-прибаутками. Дед Иван на язык остер был, балагурил всё время. Большого роста, крепкий, с густой чёрной бородой. Бывало, зайдёт в лавку: “Ну, клеп горят-ший?” “Горячий, горячий хлеб...” — отзывается с улыбкой продавец. “Ну, откуда он у вас горящий, если из печной трубы сегодня дым не шёл?”

У каждого из них были свои, персональные карты. Сначала играют одной колодой, покуда кто-то не скажет: “Ну, всё, а теперь моими поиграем”. Я всё удивлялась, ведь карты совсем одинаковые, а им зачем-то надо было колоды менять, да ещё во время игры так увлекутся не на шутку, что дед Иван даже про свою трубку забывал. Играют, матерятся, будто корова на кону стоит. Этот карточный азарт и нам, ребятишкам, передался. Только достанет бабушка колоду из кармана — про всё на свете забываем, рассаживаемся за стол, как заправские картёжники...

Но мама с нами играть никогда не садилась. Может быть, потому, что учительницей работала, то ли по какой-то другой причине, не знаю. Всё время ворчала на бабушку, что та нас к картам приучает. И вдруг в этот вечер мама села с нами играть! В карты!!! Я думала, что у нас их и в доме-то не водилось... С видом знатока перетасовала колоду и раздала:

— Ну, у кого что, ходите.

Так закончился этот день. Играя в “дурака” на расстеленном матрасе, я окончательно успокоилась и уснула.

Наутро снова светило солнце, мы купались в тёплой ещё августовской реке и загорали, словно и не было вчерашнего случая. Но с этого дня я стала чуть-чуть взрослее, что ли. Жизнь впервые вытащила меня из книг и окунула в действительность. Действительность оказалась другой, и на моем сердце появился первый небольшой стежок. Неприглядным и грубоватым он получился. А говорят, что о вышивке судят именно по первому стежку...

Чем больше стежков на сердце, тем меньше оно трепещет, тише бьётся. И тогда, и дальше, во взрослой жизни, душа моя неизменно стремилась к свету и чистоте, но больно уж много ухабов и ям таит человеческая дорога, после которых только одно спасение, только одно надёжное укрытие — книги.

...До этого случая я уже убегала из дому — нечаянно обвариваю кипятком сестру и себя. Испугалась, что будут ругать. Волдыри сестры сразу чем-то помазали, и ни следочка от них не осталось, а я полдня пряталась в бабушкином дровянике. В конце концов меня нашли и отвели в больницу. Следы от ожогов остались на коленях до сих пор.

Потом я ещё много раз пыталась убежать от разных вещей, но жизнь неизменно догоняла меня и больно мстила за попытки к бегству. Похоже на детские догонялки, только вот водить мне пока ни разу не удавалось.

* * *

Река волновалась. Наслаждаясь своей властью, большая вода раскачивала лодки из стороны в сторону. Веревки, их удерживающие, то натягивались в струну, то безвольно падали. Казалось, что кто-то невидимый отдавал им приказы: “Не торопитесь. Всею своё время”. Точно так же и человеческие души постоянно балансируют между жизнью и смертью. Точно так же человек, пока жив, колеблется и сомневается, если стоит перед каким-нибудь выбором.

В полдень, когда солнце повисло в аккурат над погостом, народ, провожающий покойника в последний путь, добрался до берега. Моторные и вельсельные лодки ждали наготове, люди молчали.

Солнце неожиданно спряталось за облако. “Только бы дождь не начался, давайте, это...” — сказал кто-то из мужиков. Все будто бы встрепенулись, и людской муравейник зашевелился. Никто не знал, сколько лодок понадобится для таких необычных похорон. Про запас приготовили около десятка, чтобы потом можно было выбрать из них самые подходящие.

* * *

Выросли мы без отца. Мама не любит рассказывать о годах своего замужества. Знаю лишь, что после окончания училища она по направлению поехала работать в дальнее село. Отец разыскал её и перевёз в райцентр. Поселились там в небольшом домишке. Мама работала в школе, потом родилась я, а через два года моя сестрёнка. Спустя два месяца после её рождения отец повесился. На этом семейная жизнь мамы закончилась. Было ей на ту пору тридцать лет...

* * *

Первую лодку выбрали небольшую. Для деревянного могильного столбика много места и не надо. На прибитом к нему кусочке жести гвоздём нацарапали имя и фамилию. Словно своеобразный пропуск, без которого в иной мир не примут, пока не узнают, что это был за человек и зачем он пришёл на эту грешную землю.

* * *

А мы безотцовщину особо-то никогда и не замечали. Жили не тужили, прыгали-скакали. Всё у нас было, как и у остальных детей: и одежда хорошая, и коньки-лыжи, и велосипед. Мама меня и к морю возила.

...По рассказам, после отцовских похорон две мои бабушки — по отцу и по матери — собрали мамино добро в грузовик и привезли в дом моей ыджыдмам, то в переводе с коми — старшая мама. В её доме мы прожили три года. Мама куда-то ездила, на какие-то конференции, оставляя нас на бабушкино попечение. Бабушка тогда была ещё не старая, работала, а я часто болела и подолгу сидела дома. Хотя я и копалась в книгах дни напролёт, всё же, видно, скучно было. Бабушка рассказывала, что как-то раз пришла домой, а я вся зарёванная стою перед маминой фотографией и подвываю: “Мама-а-а, иди-ии! Ма-ма-аа”. Бабушка спрашивает: “Что ты, деточка милая, так плачешь? Приедет твоя мама”. И начала меня успокаивать. А я ей скулю в ответ: “Да-аа-а, как же приедет? Я её зову, зову, а она даже не разговаривает со мной”.

Плохо дитю без мамы, и никакие лакомства да красивые игрушки её не заменят. Мама всегда самая славная и добрая — точно это основная её миссия в жизни. А разве другой может быть мама? Я никак не могла взять в толк тогда, почему пожилые сельские бабы, глядя на нас, сочувственно приговаривали: “Бедные детки”. И почему-то добавляли при этом: “Что бы с вами стало, если бы не ваша мать. Хорошая она, тем и спаслись”.

Своим детским умом я, конечно, не понимала, что это такое — расти детям без отца и жить молодой женщине без мужчины. Моя мама сумела сделать мое детство действительно счастливым. Ни разу от неё я не слышала плохих слов об отце.

После смерти моего отца с нами долго жила бабушка Ольга, его мать. Она вела себя так, словно её сын живой, словно так и надо и ничего не случилось. Вязала носки, глядя в окно. Дожила до восьмидесяти лет, и ни разу я не видела её в очках. Видимо, руки за долгую жизнь научились обходиться без глаз, сами знали, что им делать.

Папина сестра, моя крестная, часто у нас гостила. В моей памяти так и осталось, что обе эти женщины как бы заменили мне отца. Да где же заменишь?

* * *

Во второй лодке плыли два венка. Сейчас иногда случается, если городские на похороны приезжают, то с собой такие большие и разноцветные венки везут, что могила потом на клумбу становится похожей. В этот раз никаких “важных” венков не было. Сельские бабы сладили из веток. На венки леса ещё хватает.

* * *

Мне было около пяти лет, когда мы перешли жить в новый дом. После скромной бабушкиной избы он показался мне настоящим теремом. Четыре комнаты, высокий потолок, пахнет свежим деревом, стоит в самом центре села. Возле дома посаженные кем-то черемухи и берёзки, рядом с ними — ручей. Но всю эту красоту я заметила позже. Во время переселения помню лишь, что первая комната была ещё без полов. От порога до порога лежала толстая, длинная плаха, по которой мы и ходили поначалу. Она казалась мне мостом через какую-то невидимую широкую реку. Самое интересное было вечерами, впотьмах. Под светлой плахой — непроглядная темень. Дойдешь до середины, качнёшь доску и думаешь — если сорвёшься вниз, долго ли лететь придётся? Боязно, а всё равно качаешься. Так мы и развлекались, пока не постелили пол. Спустя время, перед Пасхой, бабушка приспособила для нас на сеновале настоящие качели. Мама их почему-то сразу же невзлюбила. Все время поднимала верёвки с доской вверх, на бревно. Может быть, боялась, что мы с них когда-нибудь сорвёмся, а может, доска мешала управляться с сеном. А нам с сестрой летать в травяных ароматах очень даже нравилось, и мы при любой возможности, тайком от мамы, снова и снова распускали веревки и прилаживали доску.

...Меня всю жизнь удивляет, как мама с двумя малышами на учительскую зарплату подняла такой огромный дом. Сельчане, конечно, помогали и бабушка. Она у нас с характером была, даже мужики её побаивались: все деревенские работы лучше иного мужика знала — хоть печку сложить, хоть стог сметать. И всё же больше всего хлопот выпало на мамину долю. И потом, всю жизнь, она что-то всё время мастерила, приколачивала. Тяжело без мужика, но и помощников за каждым разом просить не будешь.

Именно этот дом стал для меня по-настоящему самым дорогим. До сих пор, хотя давно уже живу вдалеке от родных мест, он для меня самый главный на земле.

Всю жизнь мечтаю построить свой дом, но вряд ли у меня что-нибудь получится...

* * *

В третью лодку положили крышку гроба. Чтоб не намочить обивочную ткань, крышку приспособили поперёк лодки. Тем, кто смотрел на всё это с небес, должно было быть удивительно, что это за крест плывёт по реке...

* * *

...Отца я помню смутно. Ни его голоса, ни лица не осталось в моём детском восприятии. Всего несколько эпизодов и сохранилось из прошлого. Когда он качает меня на коленях — и похороны. Нас, двух сестёр, посадили тогда на диван и долго фотографировали. Я, помню, встаю, подхожу к бабушке, трогаю её лоб — тёплый, потом прикасаюсь к своему — тоже тёплый, затем глажу папин лоб, а он — холодный.

...Не умела я тогда причитать по отцу, теперь, к сорока годам, научилась. Но теперь больше свою жизнь, наверное, оплакиваю. Плохо без отца, чего там говорить. И в детстве его не хватало, и сейчас нужен. Только вот где его возьмёшь? Маленькое белое платьице, подаренное мне отцом, я храню до сих пор. И ещё — заказанный папой в каком-то фотоателье мой портрет, на котором мне два годика. Истончилась на нем бумага за годы, но я не решаюсь что-то менять. Это платьице и портрет — моя об отце память.

Наверное, потому, что я совсем не помню отца, он всегда кажется мне самым добрым, самым красивым, самым толковым мужчиной на свете. Недавно я рассматривала мамин фотоальбом — так и есть — самый, самый. Эх, как бы хорошо нам всем вместе жилось...

Всю жизнь ищу мужчину, хотя бы отдалённо напоминающего отца. Увы...

* * *

В полном безмолвии мужики гроб осторожно перенесли в лодку. Никому ещё из нынешних не доводилось переправляться через реку с покойником.

Хотя эта, четвёртая, лодка и была побольше других, устанавливали гроб тщательно. Мало ли что — с водой шутки плохи. Заметно просевшая от тяжести лодка, покачиваясь, взяла курс к кладбищу. Она удалялась, а с берега казалось, что вода качает зыбку, над которой бабка-пестунья поет младенцу колыбельную песню.

Неожиданно набежал ветер и погнал волну. Стоящим на берегу людям даже пришлось немного отойти. “Но если сейчас зачерпнёт, то всё...” “Господи, господи...” — осеняли себя крестом пожилые сельчане.

Обошлось. Лодки причалили. Перешел человек и через водную преграду — видно, и в самом деле выполнил всё, что Бог уготовил ему на земле.

* * *

В один из моих приездов домой мама обмолвилась, что запретила приходить в дом тому мужчине. В последнее время они с мамой и вправду не очень ладили. Нет, ссориться часто они не могли, потому что жил он тогда в городе с нелюбимой, по его словам, женой. Приезжал только летом. Селлся в старом доме своего отца, выпивал и приходил к маме. Каждый раз говорил, что, как только подрастёт дочь, он оставит семью и приедет к маме. Я почему-то понимала, что из этой затеи ничего не получится, а вот мама в глубине души всё же ждала его. Вот уже и дочка его выросла, вышла замуж и уехала далеко от родной земли, а мама так и оставалась одна. Однажды я, уже довольно взрослая, с начавшим черстветь сердцем, спросила маму:

— Ну на что он тебе нужен?

Она ответила мгновенно:

— Сердцу не прикажешь. И первая любовь не забывается.

Мне показалось тогда, что передо мной не мама, а шестнадцатилетняя девочка, впервые познавшая любовь.

И снова мне стало очень обидно и жалко. А кого жалче — себя или маму, не разобралась. Мне многое хотелось ей сказать, но я в который раз промолчала. Не нашла нужных слов. Если хочет, то пускай надеется и ждёт... Да и имею ли я право что-то ей говорить. Однажды вот, в двенадцать лет, уже сказала...

* * *

В пятую лодку села родня. Приехала из города жена, и дочь вернулась из далёких земель. Больше близких родственников не было.

Отчий дом покойного окончательно осиротел и одрях. Не очень хорошим хозяином оказался его последний жилец, почти всю веранду разобрал на дрова. На дне полупустой лодки сумка с поминальной едой и бутылка водки. Кто-нибудь же помянет.

* * *

Мне было двадцать, потом тридцать лет, а он продолжал приходить. Однажды пришёл во время моего приезда. Постарел, но всё ещё пытался бодриться. Слегка навеселе, прямо с порога прошагал к столу, выставил две бутылки и сел на диван.

Мама собрала на скорую руку какую-то закуску. Меня, хоть я всегда в таких случаях отнекивалась, тоже усадили за стол. Сидим. Он расспрашивает о каких-то городских новостях, я что-то отвечаю. Вдруг он нагибается поближе ко мне:

— Знаешь что, а давай мы с тобой на рыбалку съездим. Сети возьмём, удочки, продукты, выпивки, как полагается. Вдвоём. На пару-тройку дней. А? — вроде бы и просто сказал, от души, но будто бы мурлыкал мартовский кот...

Меня бросило в дрожь. В этот момент я опять вспомнила тот давний свой побег из дому. Чтобы не наговорить резкостей и не огреть его чем-нибудь по лысеющей голове, я снова вышла из дома.

...Больше мы с ним не виделись. И вот — умер...

* * *

В шестой лодке сидели в основном мужчины. Опускать гроб и закапывать могилу — мужская работа.

* * *

Моё ожидание — это только мое ожидание. Никто мне не обещал, что этот человек заменит мне отца. Я сама себя обнадеживала и ждала... И никто меня не обманывал... Я обманывала саму себя...

* * *

Мама сидела в седьмой лодке вместе с тётками, которые не пропускают ни одних похорон. Такие есть в каждой деревне. Горько причитая, они не забывают выпить несколько поминальных рюмок.

* * *

Летом мы с мамой ходили на кладбище. Вода уже убыла. О весеннем наводнении напоминали только небольшие ямки, в которых тускло поблескивала мутноватая жижа, да ещё разбросанный и забытый половодьем всякий древесный мусор. Мы без труда добрались по сухому месту к могиле отца, завернули на могилу тёти, а потом мама повела меня на его могилу. Посидели, помянули. Мама сказала: “Хотя бы так. При людях ведь сюда не придёшь”.

Я промолчала.

* * *

А что тут скажешь? Половодье не перегородишь...

СЕЛО МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

РАССКАЗ

Митя никак не хотел сегодня засыпать. И сказку мама ему рассказала, и песенку спела, и ножки погладила, а он всё хнычет. Наконец глубоко вздохнул, обнял своего плюшевого медведя и затих. Нина Ивановна посидела ещё немного, затем поправила одеяльце, погладила шелковистые волосы сына, встала, потянулась и тоже вздохнула. Лежащая на столе стопка тетрадей не сразу отпустит её спать.

Прошло уже несколько дней, как 11-й класс написал сочинение, а проверить всё руки не доходили. Но сегодня надо обязательно проверить, завтра урок литературы, и дети, хотя какие они уже дети, будут ждать оценок. Нина Ивановна зажгла маленькую настольную лампу, снова глубоко вздохнула, села за стол и взяла первую тетрадь. Первой оказалась тетрадь Люды Сивковой. Открыв первую страницу, Нина Ивановна прочитала: “Сочинение “Как меняется моё село”. Вспомнилось, как на уроке из трех предложенных тем почему-то именно эту выбрало большинство. Видимо, ближе и понятнее — село ведь вон оно — рядом.

“Моё село раскинулось на берегу Вычегды”. ...Хорошо начала Люда. Толковая девочка. Надо бы ей дальше учиться. Правда, живут не очень богато, да для единственной дочери, глядишь, да найдутся деньги. Надо бы с отцом её поговорить. Вроде он главный в семье... “Когда-то давным-давно пришёл сюда первый человек. Посмотрел вокруг — понравилось. Распаковал свои вещи и остался жить в этом красивом сосновом бору”. А места здесь и правда красивые — высокий берег, и внизу река как зеркало. Летом Нина Ивановна с Митей частенько спускаются в реку, если тепло — купаются, нет, так просто гуляют по берегу. “Наше село когда-то было очень большим. Как рассказывала моя бабушка, было очень весело. А вот сейчас много окон заколочено. Люди уехали. Но мы с родителями никуда не собираемся. Ведь в этом селе родились мои бабушка с дедушкой, мама, папа и я. Да и сейчас жизнь в селе стала налаживаться. Мама моя долго была безработной, а теперь у неё есть работа. В нашем селе открыли детдом. И маму взяли туда на работу. Это очень хорошо, что в сёлах открывают новые учреждения, где будет работа для людей. Значит, село меняется к лучшему”.

Буквы вдруг начали плыть перед глазами. Нина Ивановна отодвинула тетрадь, закрыла ладонями глаза. Посидела так, затем открыла другую тетрадь. Пробежала глазами и наткнулась: “Очень хорошо, что в нашем селе открыли детдом...” Третья тетрадь: “В нашем селе произошло очень хорошее событие — открыли дом для детей”, четвёртая, пятая, шестая тетрадь... “Самое хорошее в нашем селе... детдом”, “В детдоме детям жить будет хорошо. У них будет новая одежда, хорошая еда, тёплая постель...”

Нина Ивановна сидела за столом, на столе полукругом лежали раскрытые тетради. И ей казалось, что из каждой на неё смотрят детские глаза — испуганные, грустные, хитрые, сердитые, вон эти вроде улыбнулись Нине Ивановне. Её начало трясти. Быстро закрыла улыбающуюся тетрадь, потом вторую, третью, все сложила в стопку, наверху снова оказалась тетрадь Люды Сивковой. Нина Ивановна остолбенело смотрела на стопку, затем закрыла глаза и опустила голову на сжатые кулаки. В то же мгновение небольшая комнатка наполнилась голосами: “А меня Ива-а-ном зовут... А я Ка-а-а... А моя мама, моя мама... сёлявно меня любит... Да твоя мама в тюрьме... Пусть! Пусть! Она сёлявно меня забелёт... А папа Мишеньки... уехал далеко-далеко... Сёлявно любит... Сёлявно... Сёлявно...”. Внезапно всё стихло. И в звенящей тишине послышался тоненький голосок: “Мама... мама... ма-а-ма!” “Митя!” — очнулась Нина Ивановна и, опрокинув стул, бросилась к сыну. “Мамочка, посиди со мной, я не хочу спать”, — сквозь сон пробормо-

тал Митя. “Посижку, посижук, давай спи. Я побуду с тобой, милый, спи, мой зайчик, спи, хороший”, — торопливо, словно боясь, что Митя её не дослушает, бормотала Нина Ивановна.

Митя повернулся на другой бок, сладко зевнул и снова начал сопеть. “Что-то нос заложено... Прохладно, видно, в садике... А может, на прогулке простыл... Надо будет утром почистить носик и в садике спросить, не легко ли одевается на прогулку... Лишь бы не заболел”. В общем-то, сын болел редко, в роддоме вот не сразу принесли, слабеньким был. Эти две ночи для Нины Ивановны показались нескончаемыми, чего она только не передумала! А потом, когда принесли Митеньку, впилась глазами в незнакомое ещё лицо, прижала к себе и сквозь пелёнки торопливо ощупала крохотные тельце, ножки, ручки...

“Покормите, мамаша, ребёнку надо отнести обратно”, — сквозь пелену услышала Нина Ивановна голос медсестры, неумело ткнула сосок в ротик сына и чуть не заплакала: “Не ест”. “Конечно, не будет есть. Спит. Разбудить надо”, — откликнулась сестра. “Спит? — удивилась Нина. — А как же?..”. “Эх, мамаша, ребёнку рожать умеете, а что с ним делать, не знаете”, — проворчала сестра, подошла к Мите, и, зажав пальцами нос, потрясла. “Не надо! — вырвалось у Нины. — Ему ведь больно!”. “Ничего, зато проснётся и покушает. Голодным ведь я его не заберу”. Так вдвоём и покормили Митю в первый раз... А спустя несколько дней на пороге роддома Нину встречали её институтские подруги... И вот уже Мите скоро шесть.

Наутро, отведя Митю в садик, Нина Ивановна забежала в школу, сказалась больной и быстро вернулась домой. Стопка тетрадей так же лежала на столе, на самом верху тетрадь Люды Сивковой. Нина Ивановна сняла пальто, достала из ящика стола ручку с красной пастой, села за стол и вытащила самую нижнюю тетрадь. Ивана Пыстина. ...Ох, надо хоть ошибки исправить, у Ивана до десяти порой набирается. Раскрыла тетрадь, и снова в мозг вонзились детские голоса. Закрыла тетрадь, голоса исчезли...

Сколько просидела Нина Ивановна за столом, не помнит. Внезапно она вскочила, схватила стопку тетрадей, запахала кое-как в сумку, оделась и побежала в школу.

В школе шли уроки, и было тихо. Тихонько пробралась по коридору и открыла дверь директорского кабинета.

— Нина Ивановна, мне передали, что вы больны, а вы здоровы, — уже на пороге услышала Нина Ивановна голос директора. Валентина Петровна уже давно работала директором, Нина Ивановна даже точно не знала, сколько, во всяком случае, с её приезда уже пять лет она командовала школой. — Что с вами? — директор заметила бледное лицо пришедшей. — Действительно больны? Тогда зачем пришли? Идите в больницу, берите больничный, ваши уроки я попрошу заменить.

— Вот! — Нина Ивановна достала тетради и положила на директорский стол.

— Ну и что это? — придвинув к себе тетради, Валентина Петровна прочитала. — Тетрадь по литературе... ученицы 11-го класса... Людмила Сивковой... Ну и что?

— А вы откройте, прочитайте. Мы сочинение писали...

— Ну и что, ошибок много? По новой напишите...

— Вы почитайте, что они пишут...

— О Господи, что такого могут написать наши дети? — Директор неторопливо открыла тетрадь Люды.

— Валентина Петровна, они... они... все пишут, пишут... — Нина Ивановна не могла найти нужные слова.

— Сочинение “Как меняется моё село”... “Моё село раскинулось на берегу Вычегды...” Какие красивые слова нашла Люда, — про себя проговорила Валентина Петровна и дальше продолжила уже громко. — “Мама моя долго была безработной, а теперь у неё есть работа. В нашем селе открывают детдом. И маму взяли туда на работу. Это очень хорошо, что в сёлах открывают новые учреждения, где будет работа для людей. Значит, село меняется к лучшему”. Ну и что тут такого? Что вы из-за всякой ерунды меня дёргаете?

— Как из-за ерунды? Они все пишут, что это очень хорошо, что в нашем селе открыли детдом!

— Конечно, хорошо, — спокойно ответила Валентина Петровна. — Брошенных детей ведь надо куда-то девать. И там будут дети не только из нашего села, но и из других. Об этом в роно давно шла речь, и очень хорошо, что наконец-то нашлись деньги и детдом открылся.

— Валентина Петровна...

— Нина Ивановна, — оборвала её директор, — вы ещё очень молоды, многое в жизни ещё не понимаете. Не надо поднимать шум. В одиннадцатом классе у нас думающие дети. Они прекрасно понимают, что в селе людям нужна работа, и открытие детдома даст новые рабочие места.

— Почему они только это понимают, — закрыв лицо, прошептала Нина Ивановна. — Ведь они сами скоро родителями будут.

— Скоро, — согласилась директорша. — Люде Сивковой дай Бог школу успеть закончить.

— Что? — Нина Ивановна широко раскрытыми глазами уставилась на директора.

— А что, вы не знали? Вся школа уже знает. А вы будто на луне живёте. А куда мы её денем? Девочке нужен аттестат, ей надо дальше учиться. Пусть заканчивает школу.

Нина Ивановна тяжело повернулась, нажала на ручку двери, открыла её, вышла из кабинета директора, прошла по коридору, кивнула уборщице, вышла на улицу и направилась к дому. Зимнее солнце гналось за ней тёмной тенью.

Только дома вспомнила, что тетради так и остались на столе директора. “Ну и пусть”, — подумала Нина Ивановна, сняла пальто, развязала платок, повесила всё на вешалку, поставила будильник на пять часов, чтоб не опоздать за Митей в садик, достала оставшийся после какой-то болезни димедрол, сунула в рот и легла на диван.

Во сне увидела себя директором детдома. Сидит за широким столом, а в дверях стоит улыбающаяся Люда Сивкова и протягивает ей перевязанный алой ленточкой сверток. А по всему кабинету звенит голосок: “Сёлявно меня мама любит, сёлявно любит”...

Перевод Игоря Вавилова